



ГЕРМАН

ГЕССЕ

ДЕМИАН

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Герман Гессе

Демиан

«АСТ»

1919

УДК 821.112.2
ББК 84 (4Гем)

Гессе Г.

Демиан / Г. Гессе — «АСТ», 1919 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-086116-3

Едва появившись на книжном рынке в 1919 г., роман крупнейшего прозаика, поэта, эссеиста, одного из классиков немецкой и мировой литературы Германа Гессе «Демиан» сразу завоевал огромную популярность. Томас Манн писал: «Незабываемо электризирующее действие, вызванное вскоре после Первой мировой войны романом “Демиан”, произведением, которое с беспощадной точностью задело нерв эпохи и вызвало благодарное восхищение целого поколения молодежи...»

УДК 821.112.2
ББК 84 (4Гем)

ISBN 978-5-17-086116-3

© Гессе Г., 1919
© АСТ, 1919

Содержание

1. Два мира	7
2. Каин	16
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Герман Гессе

Демиан

*Я ведь всего только и хотел попытаться жить тем, что само
рвалось из меня наружу. Почему же это было так трудно?*

Hermann Hesse

DEMIAN

Hermann Hesse, *Smtliche Werke, Band 3: Die Romane.*

Herausgegeben von Volker Michels

Печатается с разрешения издательства Suhrkamp Verlag GmbH & Co.

KG.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2001

© Перевод. С. Апт, наследники, 2014

© Издание на русском языке AST Publishers, 2014

Исключительные права на публикацию книги на русском языке
принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или
частично, без разрешения правообладателя запрещается.

* * *

Чтобы рассказать мою историю, мне надо начать издалека. Мне следовало бы, будь
это возможно, вернуться гораздо дальше назад, в самые первые годы моего детства, и еще
дальше, в даль моего происхождения.

Писатели, когда они пишут романы, делают вид, будто они Господь Бог и могут цели-
ком охватить и понять какую-то человеческую историю, могут изобразить ее так, как если
бы ее рассказывал себе сам Господь Бог, без всякого тумана, только существенное. Я так
не могу, да и писатели так не могут. Но мне моя история важнее, чем какому-нибудь писа-
телю его история; ибо это моя собственная история, а значит, история человека не выду-
манного, возможного, идеального или еще как-либо не существующего, а настоящего, един-
ственного в своем роде, живого человека. Что это такое, настоящий живой человек, о том,
правда, сегодня знают меньше, чем когда-либо, и людей, каждый из которых есть драгоцен-
ная, единственная в своем роде попытка природы, убивают сегодня скопом. Если бы мы
не были еще чем-то большим, чем единственными в своем роде людьми, если бы нас дей-
ствительно можно было полностью уничтожить пулей, то рассказывать истории не было бы
уже смысла. Но каждый человек – это не только он сам, это еще и та единственная в своем
роде, совершенно особенная, в каждом случае важная и замечательная точка, где явления
мира скрешиваются именно так, только однажды и никогда больше. Поэтому история каж-
дого человека важна, вечна, божественна, поэтому каждый человек, пока он жив и исполняет
волю природы, чудесен и достоин всяческого внимания. В каждом приобрел образ дух, в
каждом страдает живая тварь, в каждом распинают Спасителя.

Мало кто знает сегодня, что такое человек. Многие чувствуют это, и потому им легче
умирать, как и мне будет легче умереть, когда я допишу эту историю.

Знающим я назвать себя не смею. Я был ищущим и все еще остаюсь им, но ищу я
уже не на звездах и не в книгах, я начинаю слышать то, чему учит меня шумящая во мне
кровь. Моя история лишена приятности, в ней нет милой гармонии выдуманных историй,

она отдает бессмыслицей и душевной смутой, безумием и бредом, как жизнь всех, кто уже не хочет обманываться.

Жизнь каждого человека есть путь к самому себе, попытка пути, намек на тропу. Ни один человек никогда не был самим собой целиком и полностью; каждый тем не менее стремится к этому, один глухо, другой отчетливей, каждый как может. Каждый несет с собой до конца оставшееся от его рождения, слизь и яичную скорлупу некоей первобытности. Иной так и не становится человеком, остается лягушкой, остается ящерицей, остается муравьем. Иной вверху человек, а внизу рыба. Но каждый – это бросок природы в сторону человека. И происхождение у всех одно – матери, мы все из одного и того же жерла, но каждый, будучи попыткой, будучи броском из бездны, устремляется к своей собственной цели. Мы можем понять друг друга, но объяснить можем каждый только себя.

1. Два мира

Я начну свою историю с одного происшествия той поры, когда мне было десять лет и я ходил в гимназию нашего города.

Многое наплывает на меня оттуда, пробирая меня болью и приводя в сладостный трепет, – темные улицы, светлые дома, и башни, и бой часов, и человеческие лица, и комнаты, полные уюта и милой теплоты, полные тайны и глубокого страха перед призраками. Пахнет теплой теснотой, кроликами и служанками, домашними снадобьями и сушеными фруктами. Два мира смешивались там друг с другом, от двух полюсов приходили каждый день и каждая ночь.

Одним миром был отцовский дом, но мир этот был даже еще хуже, он охватывал, собственно, только моих родителей. Этот мир был мне большей частью хорошо знаком, он означал мать и отца, он означал любовь и строгость, образцовое поведение и школу. Этому миру были присущи легкий блеск, ясность и опрятность. Здесь были вымытые руки, мягкая, приветливая речь, чистое платье, хорошие манеры. Здесь пели утренний хорал, здесь праздновали Рождество. В этом мире существовали прямые линии и пути, которые вели в будущее, существовали долг и вина, нечистая совесть и исповедь, прощение и добрые намерения, любовь и почтение, библейское слово и мудрость. Этому миру следовало держаться, чтобы жизнь была ясной и чистой, прекрасной и упорядоченной.

Между тем другой мир начинался уже в самом нашем доме и был совсем иным, иначе пахнул, иначе говорил, другое обещал, другого требовал. В этом мире существовали служанки и подмастерья, истории с участием нечистой силы и скандальные слухи, существовало пестрое множество чудовищных, манящих, ужасных, загадочных вещей, таких, как бойни, тюрьма, пьяные и сквернословящие женщины, телящиеся коровы, павшие лошади, рассказы о грабежах, убийствах и самоубийствах. Все эти прекрасные и ужасные, дикие и жестокие вещи существовали вокруг, на ближайшей улице, в ближайшем доме, полицейские и бродяги расхаживали повсюду. Пьяные били своих жен, толпы девушек текли по вечерам из фабрик, старухи могли напустить на тебя порчу, в лесу жили разбойники, сыщики ловили поджигателей – везде бил ключом и благоухал этот второй, ожесточенный мир, везде, только не в наших комнатах, где были мать и отец. И это было очень хорошо. Это было чудесно, что существовало и все то другое, все то громкое и яркое, мрачное и жестокое, от чего можно было, однако, в один миг укрыться у матери.

И самое странное – как оба эти мира друг с другом соприкасались, как близки они были друг к другу! Например, наша служанка Лина, когда она по вечерам, за молитвой, сидела в гостиной у двери и своим звонким голосом пела вместе с другими, положив вымытые руки на выглаженный передник, тогда она была целиком с отцом и матерью, с нами, со светлым и правильным. А сразу после этого, в кухне или дровянике, когда она рассказывала мне сказку о человечке без головы или когда она спорила с соседками в маленькой мясной лавке, она была совсем другая, принадлежала к другому миру, окружалась тайной. И так было со всем на свете, чаще всего со мной самим. Конечно, я принадлежал к светлomu и правильному миру, я был сыном своих родителей, но, куда ни направлял я свой взгляд и слух, везде присутствовало это другое, и я жил также и в нем, хотя оно часто бывало мне чуждо и жутко, хотя там обыкновенно появлялись нечистая совесть и страх. Порой мне даже милее всего было жить в этом запретном мире, и возвращение домой, к светлomu – при всей своей необходимости и благотворности – часто ощущалось почти как возврат к чему-то менее прекрасному, более скучному и унылому. Иногда я знал: моя цель жизни – стать таким же, как мой отец и моя мать, таким же светлым и чистым, таким же уверенным и порядочным, но до этого еще долгий путь, до этого надо отсидживать уроки в школе, быть студентом, сдавать

всякие экзамены, и путь этот идет все время мимо другого, темного мира, а то и через него, и вполне возможно, что в нем-то как раз и останешься и утонешь. Сколько угодно было историй о блудных сыновьях, с которыми именно так и случилось, я читал их со страстью. Возвращение в отчий дом и на путь добра всегда бывало замечательным избавлением, я вполне понимал, что только это правильно, хорошо и достойно желания, и все же та часть истории, что протекала среди злых и заблудших, привлекала меня гораздо больше, и если бы можно было это сказать и в этом признаться, то иногда мне бывало, в сущности, даже жаль, что блудный сын раскаялся и нашелся. Но этого ни говорить, ни думать не полагалось. Это ощущалось только подспудно, как некое предчувствие, некая возможность. Когда я представлял себе черта, я легко мог вообразить его идущим по улице открыто, или переодетым, или где-нибудь на ярмарке, или в трактире, но никак не у нас дома.

Мои сестры принадлежали тоже к светлому миру. Они, как мне часто казалось, были ближе к отцу и матери, они были лучше, нравственнее, непогрешимее, чем я. У них были недостатки, были дурные привычки, но мне казалось, что это заходит не очень глубоко, не так, как у меня, где соприкосновение со злом часто оказывалось мучительно-тяжким, где темный мир находился гораздо ближе. Сестер, как и родителей, надо было щадить и уважать, и, если случалось поссориться с ними, ты всегда оказывался плохим перед собственной совестью, зачинщиком, который должен просить прощения. Ибо в сестрах ты обижал родителей, добро и непреложность. Были тайны, поделиться которыми с самыми скверными уличными мальчишками мне было куда легче, чем с сестрами. В хорошие дни, когда все светло и совесть в порядке, бывало просто восхитительно играть с сестрами, держаться с ними приятно и мило и видеть самого себя в славном, благоприятном свете. Так, наверно, было бы, если бы сделаться ангелом! Ничего более высокого мы не знали, и нам казалось дивным блаженством быть ангелами, окруженными сладкозвучием и благоуханием, как сочельник и счастье. О, как редко выдавались такие часы и дни! За игрой, за хорошими, невинными, разрешенными играми, мною часто овладевала горячность, которая претила сестрам, вела к ссорам и бедам, и, если на меня тогда находила злость, я становился ужасен, я делал и говорил вещи, делая и говоря которые в глубине души уже обжигался их мерзостью. Затем наступали скверные, мрачные часы раскаяния и самоуничтожения, а за ними горькая минута, когда я просил прощения, потом снова, на какие-то часы или мгновения, – луч света, тихое, благодарное счастье без разлада.

Я учился в гимназии, сын бургомистра и сын старшего лесничего были в моем классе и иногда приходили ко мне, дикие сорванцы и все-таки частицы доброго, разрешенного мира. Тем не менее у меня были близкие отношения с соседскими мальчишками, учениками народной школы, которых мы вообще презирали. С одного из них я и начну свой рассказ.

Как-то в свободные часы второй половины дня – мне было чуть больше десяти лет – я слонялся без дела с двумя соседскими мальчишками. Тут к нам подошел третий, постарше, сильный и грубый малый лет тринадцати, ученик народной школы, сын портного. Его отец был пьяница, и вся семья пользовалась дурной славой. Франц Кроммер был мне хорошо известен, и мне не понравилось, что он присоединился к нам. У него были уже мужские манеры, он подражал походкой и оборотами речи фабричным парням. Под его предводительством мы возле моста спустились к берегу и спрятались от мира под первой мостовой аркой. Узкий берег между сводчатой стеной моста и вяло текущей водой состоял из сплошных отбросов, из черепков и рухляди, запутанных узлов ржавой проволоки и прочего мусора. Там можно было иногда найти полезные вещи; под предводительством Франца Кроммера мы должны были обыскивать этот участок и показывать ему найденное. Затем он либо брал это себе, либо выбрасывал в воду. Он велел нам не пропускать предметов из свинца, меди и олова, их он все до одного забрал, как и роговую гребенку. Я чувствовал себя в его обществе очень скованно, и вовсе не от уверенности, что мой отец запретил бы мне водиться с ним, а от

страха перед самим Францем. Я был рад, что он меня взял с собой и обращался со мной как с другими. Он приказывал, а мы повиновались, словно так заведено издавна, хотя я был впервые с ним вместе.

Наконец мы уселись на берегу. Франц плевал в воду и был похож на взрослого. Он плевал сквозь отверстие на месте выпавшего зуба и попадал куда хотел. Начался разговор, и мальчики стали бахвалиться своим геройством в школе и всяческими бесчинствами. Я молчал, боясь, однако, именно этим привлечь к себе внимание и вызвать гнев у Кромера. Оба моих товарища отделились от меня и взяли его сторону, я был чужим среди них и чувствовал, что моя одежда и мое поведение бросают им вызов. Как гимназиста и барчука, Франц наверняка не мог любить меня, а те оба, я это прекрасно чувствовал, в случае чего отступились бы и бросили меня на произвол судьбы.

Только от страха начал в конце концов рассказывать и я. Я выдумал великолепную разбойничью историю, героем которой сделал себя. В саду возле Угловой мельницы, рассказывал я, мы с одним приятелем ночью утащили целый мешок яблок, причем не обычных, а сплошь ранет и золотой пармен, лучшие сорта. Убежал я в эту историю от опасностей той минуты, а выдумывать и рассказывать я умел. Чтобы тут же не умолкнуть и не угодить в еще худшее положение, я пустил в ход все свое искусство. Один из нас, рассказал я, стоял на страже, а другой сбрасывал яблоки с дерева, и мешок получился такой тяжелый, что под конец нам пришлось открыть его и половину отсыпать, но через полчаса мы вернулись и унесли и это.

Кончив рассказ, я надеялся на какое-то одобрение, к концу я разошелся, сочинительство опьянило меня. Оба мальчика выжидающе промолчали, а Франц Кромер, прищурившись, пронзил меня взглядом и с угрозой в голосе спросил:

– Это правда?

– Да, конечно, – сказал я.

– Значит, сушая правда?

– Да, сушая правда, – упрямо подтвердил я, а сам задыхался от страха.

– Можешь поклясться?

Я очень испугался, но сразу сказал «да».

– Ну так скажи: «Клянусь Богом и душой».

Я сказал:

– Клянусь Богом и душой.

– Ну что ж, – отозвался он и отвернулся.

Я думал, что тем дело и кончилось, и был рад, когда он вскоре поднялся и направился в обратный путь. Когда мы вышли на мост, я робко сказал, что мне нужно домой.

– Не надо спешить, – засмеялся Франц, – нам же по пути.

Он медленно плелся дальше, и я не осмеливался убежать, но он действительно шел в сторону нашего дома. Когда мы дошли до него, когда я увидел нашу входную дверь и толстую медную ручку, солнце на окнах и занавески в комнате матери, я глубоко вздохнул. О возвращение домой! О доброе, благословенное возвращение в свой дом, в светлоту, в мир!

Когда я быстро отворил дверь и прошмыгнул, готовый захлопнуть ее, Франц Кромер протиснулся вслед за мной. В прохладном, мрачном коридоре с каменным полом, куда свет проникал только со двора, он стал рядом со мной, взял меня за плечо и тихо сказал:

– Не надо так спешить, понял?

Я испуганно посмотрел на него. Он держал плечо мертвой хваткой. Не зная, что же у него на уме, я было подумал, что он собирается поднять на меня руку. Если я сейчас закричу, думал я, закричу громко, истошно, успеет ли кто-нибудь спуститься, чтобы спасти меня? Но я не закричал.

– В чем дело? – спросил я. – Что тебе нужно?

- Не так много. Я должен только еще кое-что спросить тебя. Другим незачем слышать.
- Вот как? Что же мне еще сказать тебе? Мне надо наверх, пойми.
- Ты же знаешь, – тихо сказал Франц, – чей это сад возле Угловой мельницы?
- Нет, не знаю. Думаю – мельника.

Франц обхватил меня рукой и притянул вплотную к себе, так что мне пришлось глядеть ему прямо в лицо. Глаза у него были злые, улыбался он скверно, а в лице были жестокость и властность.

– Да, миленький, я-то уж могу тебе сказать, чей это сад. Я давно знаю, что там украдены яблоки, и знаю, что хозяин сказал, что даст две марки любому, кто укажет вора.

– Боже мой! – воскликнул я. – Но ты же не скажешь ему?

Я чувствовал, что бесполезно взывать к его чести. Он был из другого мира, для него предательство не считалось преступлением. Я чувствовал это безошибочно. В этих делах люди из другого мира были не такие, как мы.

– Не скажу? – засмеялся Кромер. – Ты, друг мой, думаешь, наверно, что я фальшиво-монетчик, что я могу сам делать себе двухмарковые монеты? Я бедняк, у меня нет богатого отца, как у тебя, и если мне выпадает случай заработать две марки, то я должен их заработать. Может быть, он даст даже больше.

Внезапно он отпустил меня. Наша входная площадка уже не пахла покоем и безопасностью, мир вокруг меня рухнул. Кромер выдаст меня, я – преступник, об этом скажут отцу, может быть, даже придет полиция. Мне грозили все ужасы хаоса, на меня ополчилось все безобразное и опасное в мире. Что я вовсе не вор, не имело никакого значения. Кроме того, я поклялся. О Боже, о Боже!

Слезы навернулись у меня на глаза. Я чувствовал, что должен откупиться, и в отчаянии обшаривал свои карманы. Ни яблока, ни перочинного ножика – ничего не было. Тут я вспомнил о своих часах. Это были старые серебряные часы, и они не ходили, я носил их «так просто». Они перешли ко мне от нашей бабушки. Я быстро вытащил их.

– Кромер, – сказал я, – послушай, не выдавай меня, это будет некрасиво с твоей стороны. Я подарю тебе свои часы, вот погляди. Больше у меня, к сожалению, ничего нет. Возьми их, они серебряные, и механизм хороший, там только какая-то маленькая неполадка, их можно починить.

Он усмехнулся и взял часы в свою большую руку. Я смотрел на эту руку и чувствовал, как она груба и как глубоко враждебна мне, как она посягает на мою жизнь и на мой покой.

– Они серебряные, – сказал я робко.

– Плевать мне на твое серебро и на твои старые часы! – сказал он с глубоким презрением. – Сам отдавай их в починку!

– Но, Франц, – крикнул я, дрожа от страха, что он убежит, – подожди-ка! Возьми все-таки часы! Они действительно серебряные, действительно, в самом деле. Да и нет у меня ничего другого.

Он посмотрел на меня холодно и презрительно.

– Значит, ты знаешь, к кому я пойду. А могу сообщить и в полицию, их унтер-офицера я хорошо знаю.

Он повернулся, чтобы уйти. Я держал его за рукав. Этого нельзя было допустить. Мне куда легче было умереть, чем вынести все, что последует, если он так уйдет.

– Франц, – взмолился я, охрипнув от волнения, – не дури! Ведь это просто шутка!

– Ну, конечно, шутка, но тебе она может дорого обойтись.

– Скажи, Франц, что мне сделать? Я же сделаю все!

Он осмотрел меня своими прищуренными глазами и опять засмеялся.

– Не будь дураком! – сказал он притворно-добродушно. – Ты же все понимаешь не хуже моего. Я могу заработать две марки, и я не богач, чтобы бросаться ими, ты это знаешь. А ты богатый, у тебя есть даже часы. Тебе нужно только дать мне две марки, и все в порядке.

Я понимал его логику. Но две марки! Это казалось мне таким же огромным и таким же недостижимым богатством, как сто, как тысяча марок. У меня денег не было. Была копилка, стоявшая у матери, в ней, благодаря приездам дядюшки и другим таким поводам, лежало несколько десяти- и пятипфенниговых монет. Больше у меня ничего не было. Карманных денег я в этом возрасте еще не получал.

– У меня ничего нет, – сказал я грустно. – У меня нет никаких денег. А вообще я тебе все отдам. У меня есть книга про индейцев, и солдатики, и компас. Я его принесу тебе.

Кромер только искривил свой наглый злой рот и плюнул на пол.

– Не болтай! – сказал он повелительно. – Свой хлам можешь оставить себе. Компас! Лучше не зли меня сейчас, слышишь, и выкладывай деньги!

– Но у меня нет их, мне никогда не дают денег. Я же не виноват в этом!

– Ну так принесешь мне завтра эти две марки. Я буду ждать тебя после школы внизу на рынке. И кончено. Не принесешь денег – увидишь!

– Да, но где же мне взять их, Господи, когда у меня ничего нет...

– У вас в доме денег хватает. Это твое дело. Итак, завтра после школы. И повторяю: если не принесешь...

Он метнул мне в глаза ужасный взгляд, еще раз сплюнул и исчез как тень.

Я не мог подняться в дом. Моя жизнь рухнула. Я думал о том, чтобы убежать и никогда больше не возвращаться или утопиться. Но это были неясные видения. Я сел в темноте на нижнюю ступеньку нашей лестницы, весь сжался и ушел в свое горе. Там нашла меня плачущим Лина, когда спускалась с корзиной за дровами.

Я попросил ее ничего не говорить наверху и поднялся. На вешалке возле стеклянной двери висели шляпа отца и материнский зонтик от солнца, домашность и нежность лились на меня от всех этих предметов, мое сердце приветствовало их с мольбой и благодарностью, как приветствует блудный сын вид и запахи родных покоев. Но все это теперь не принадлежало мне, все это был светлый отцовский и материнский мир, а я глубоко и преступно окунулся в чужую стихию, запутался в приключениях и грехе, пребывал под угрозой врага, в ожидании опасностей, страха и позора. Шляпа и зонтик, старый добрый каменный пол, большая картина над шкафом в прихожей, а изнутри, из гостиной, голос моей старшей сестры – все это было милее, нежнее и драгоценнее, чем когда-либо, но это уже не было утешением, надежным достоянием, а было сплошным укором. Все это не было уже моим, не могло пустить меня в свою безоблачность и тишину. На моих ногах была грязь, которую нельзя было удалить, вытерев их о коврик, я принес с собой тени, о которых этот родной мир и не ведал. Сколько бывало у меня тайн, сколько страхов, но все это было игрой и шуткой по сравнению с тем, что я принес с собой в эти покои сегодня. Судьба гналась за мной, ко мне тянулись руки, от которых даже мать не смогла бы меня защитить, о которых она и знать не должна была. Состояло ли мое преступление в воровстве или во лжи (разве я не дал ложной клятвы, не поклялся Богом и душой?) – это было безразлично. Мой грех состоял не в чем-то определенном, а в том, что я дал руку дьяволу. Зачем я пошел с ними? Зачем послушался Кромера – покорнее, чем когда-либо отца? Зачем выдумал эту историю о воровстве? Бахвалился преступлениями, словно это геройские подвиги? Теперь дьявол не отпускает мою руку, теперь враг не отстает от меня.

На миг я ощутил уже не страх перед завтрашним днем, а прежде всего ужасную уверенность, что отныне мой путь пойдет неуклонно под гору и во мрак. Я ясно почувствовал, что за моим проступком непременно последуют новые проступки, что мое появление среди

семьи, мое приветствие и поцелуи с родителями – ложь, что я ношу с собой рок и тайну, которые скрываю от них.

Когда я глядел на отцовскую шляпу, на миг во мне блеснула надежда. Я все скажу отцу, приму его приговор и кару, сделаю его своим поверенным и спасителем. Это будет всего только покаяние – а каяться мне уже случалось, – тяжелый, горький час, тяжелая и полная раскаяния мольба о прощении.

Как сладостно это звучало! Как завлекающе манило! Но это было невозможно. Я знал, что не сделаю этого. Я знал, что теперь у меня есть тайна, есть вина, которую я должен расхлебывать сам, в одиночку. Может быть, я сейчас на распутье, может быть, с этого часа я всегда буду во власти дурного, всегда должен буду делить тайны со злыми, зависеть от них, слушаться их, быть таким, как они. Я строил из себя мужчину и героя, теперь надо вытерпеть все, что из этого следовало.

Мне повезло, что отец, когда я вошел, побранил меня за мокрую обувь. Это отвлекло его, он не заметил худшего, и я снес упрек, который втайне отнес к другому. При этом во мне разыгралось какое-то странное новое чувство, злое, острое и колючее: я почувствовал свое превосходство над отцом! На миг я почувствовал некое презрение к его неосведомленности, его брань по поводу моих мокрых башмаков показалась мне мелочной. «Если бы ты знал!» – думал я и представлялся себе преступником, которого допрашивают из-за украденной булочки, тогда как ему следовало бы признаться в убийствах. Чувство это было скверное, гнусное, но оно было сильным, в нем была своя глубокая сладость, и оно крепче, чем всякая другая мысль, приковывало меня к моей тайне, к моей вине. Может быть, думал я, Кроммер уже пошел в полицию и донес на меня, и надо мной вот-вот разразятся грозы, а на меня здесь смотрят как на малое дитя!

Во всем этом событии, как оно досюда рассказано, этот миг был самым важным и запомнился прочнее всего. Это была первая трещина в священном образе отца, первый надлом в опорах, на которых держалась моя детская жизнь и которые каждому человеку, чтобы стать самим собой, надо разрушить. Из этих событий, не доступных ничьему зрению, состоит внутренняя, существенная линия нашей судьбы. Такая трещина, такой надлом потом нарастают, они заживают и забываются, но в самой тайной глубине они продолжают жить и кровоточить.

Меня самого сразу же ужаснуло это новое чувство, я тут же готов был целовать ноги отцу, чтобы извиниться перед ним за него. Но ни за что существенное извиниться нельзя, и ребенок чувствует это и знает так же хорошо и глубоко, как всякий мудрец.

Я сознавал необходимость подумать о своем деле, поразмыслить о том, как поступить завтра, но у меня ничего не вышло. Весь вечер я был занят единственно тем, что привыкал к изменившемуся воздуху в нашей гостиной. Стенные часы и стол, Библия и зеркало, книжная полка и картины на стене как бы прощались со мной, я с застывшим сердцем видел, как мой мир, как моя славная, счастливая жизнь уходят в прошлое, отделяются от меня, и ощущал, как сцеплен, как скреплен я новыми сосущими корнями со всем тем чужим и мрачным, чем этот мой мир окружен. Впервые отведал я смерти, а у смерти вкус горький, ибо она – это рождение, это трепет и страх перед ужасающей новизной.

Я был рад, когда наконец улегся в постель! Но прежде, как через последнее чистилище, я прошел через вечернюю молитву, когда мы пели одну песню, которая принадлежала к числу моих самых любимых. Нет, я не пел с другими, и каждый звук был для меня ядом и желчью. Я не молился с другими, когда отец произносил благословение, а когда он кончил: «... да пребудет с нами со всеми!» – какая-то судорога вырвала меня из этого круга. Милость Божья была с ними со всеми, но уже не со мной. Холодный и глубоко усталый, я удалился.

В постели, когда я немного полежал, когда меня любовно объяли тепло и защищенность, сердце мое в страхе еще раз метнулось назад и тоскливо заперхало вокруг происшед-

шего. Мать, как всегда, пожелала мне спокойной ночи, ее шаги еще отдавались в комнате, свет ее свечи еще теплился за неплотно закрытой дверью. Сейчас, думал я, сейчас она вернется – она почувствовала, она поцелует меня и спросит ласково и многообещающе, и тогда я расплачусь, тогда растает комок у меня в горле, тогда я обниму ее и расскажу ей это, и тогда все будет хорошо, тогда я спасен! И когда щель между дверью и косяком уже потемнела, я все еще какое-то время прислушивался и думал, что так непременно, непременно случится.

Потом я вернулся к действительности и посмотрел своему врагу в лицо. Я увидел его отчетливо, один глаз он прищурил, его рот грубо смеялся, и, пока я глядел на него, проникаясь неизбежным, он делался больше и безобразнее, а его злобный глаз бесовски сверкал. Он стоял вплотную ко мне, пока я не уснул, но потом сны мои были не о нем и не о сегодняшнем, нет, мне снилось, что мы катаемся на лодке, родители, сестры и я, а вокруг нас только покой и сияние дня летних каникул. Проснувшись среди ночи, еще ощущая оставшийся вкус блаженства, еще видя, как светятся на солнце белые платья сестер, я низвергнулся из всего этого рая в действительность и снова стоял напротив врага с его злобным глазом.

Утром, когда торопливо вошла мать и громко удивилась, почему я, хотя уже поздно, еще в постели, вид у меня был скверный, а когда она спросила, здоров ли я, меня стошнило.

Этим, казалось, было что-то выиграно. Я очень любил прихворнуть и все утро попивать, лежа, настой ромашки, слушая, как мать убирает соседнюю комнату, а Лина принимает мясника в прихожей. В утренних часах без школы было какое-то очарование, что-то сказочное, солнце заглядывало тогда в комнату и было не тем же солнцем, от которого в школе опускали зеленые занавески. Но и это сегодня не радовало и приобрело какой-то фальшивый оттенок.

Вот если бы я умер! Но мне только немного нездоровилось, как то часто случалось, и это ничего не меняло. Это защищало меня от школы, но отнюдь не от Кромера, который в одиннадцать ждал меня на рынке. И в материнской ласке тоже не было на этот раз ничего утешительного: она тяготила и причиняла боль. Вскоре я притворился, что снова уснул, и стал думать. Ничего не помогло, в одиннадцать мне нужно было быть на рынке. Поэтому в десять я тихо встал и сказал, что чувствую себя лучше. Это значило, как обычно в таких случаях, что я должен либо снова лечь, либо пойти в школу после обеда. Я сказал, что хочу пойти в школу. Я составил себе некий план.

Без денег мне нельзя было прийти к Кромеру. Я должен был заполучить принадлежавшую мне копилку. В ней было недостаточно денег, я это знал, далеко не достаточно, но что-то там было, а чутье говорило мне, что что-то все же лучше, чем ничего, и должно Кромера хотя бы задобрить.

У меня было скверно на душе, когда я на цыпочках крался в комнату матери и вытаскивал из ее письменного стола свою жестянку, но это было не так скверно, как вчерашнее. Сердцебиение душило меня, и лучше не стало, когда я внизу на лестнице с первого же взгляда обнаружил, что копилка заперта. Взломать ее оказалось очень легко, нужно было только порвать тонкую жестяную сеточку, но это действие далось мне с болью, лишь теперь я совершил кражу. Дотоле я только украдкой таскал сладости, конфеты, фрукты. А это была кража, хотя деньги были мои. Я чувствовал, как еще на шаг приблизился к Кромеру и его миру, как неудержимо качусь вниз, и закусил удила. Черт со мной, пути назад уже нет. Я со страхом пересчитал деньги, в жестянке они звенели так внушительно, а теперь в руке их было ничтожно мало. Там оказалось шестьдесят пять пфеннигов. Я спрятал копилку в нижней прихожей, зажал деньги в руке и вышел из дому – иначе, чем когда-либо выходил за эту дверь. Сверху кто-то позвал меня, как мне показалось, я поспешил прочь.

Было еще много времени, я крался обходными путями по улицам какого-то изменившегося города, под какими-то невиданными облаками, мимо домов, которые на меня глядели, и мимо людей, которые подозревали меня. По дороге мне вспомнилось, что один мой одно-

кашник как-то нашел талер на скотном рынке. Я готов был помолиться, чтобы Бог совершил чудо и ниспослал мне тоже такую находку. Но у меня уже не было права молиться. Да и тогда копилка не стала бы снова целой.

Франц Кромер увидел меня издалека, но шел в мою сторону очень медленно, вовсе, казалось, не замечая меня. Приблизившись, он кивком велел мне следовать за ним и, не оглядываясь, спокойно пошел дальше, вниз по Соломенной улице и через мостик, и остановился только у последних домов перед какой-то стройкой. Там не работали, стены стояли еще голые, без дверей и без окон. Кромер оглянулся и вошел в дверной проем. Я – вслед за ним. Он зашел за стену, кивком подозвал меня и протянул руку.

– Принес? – спросил он холодно.

Я вынул из кармана сжатый кулак и вытряхнул деньги в его ладонь. Он пересчитал их еще раньше, чем отзвенел последний пятак.

– Здесь шестьдесят пять пфеннигов, – сказал он и посмотрел на меня.

– Да, – сказал я робко. – Это все, что у меня есть, слишком мало, я знаю. Но это все. Больше нет.

– Я думал, что ты умнее, – почти мягко укорил он меня. – Между людьми чести все должно быть по правилам. Я не возьму у тебя ничего, что не положено, ты это знаешь. Забирай свою мелочь! Тот – ты знаешь кто – не станет со мной торговаться. Тот заплатит.

– Но у меня же нет, нет больше! Это были мои сбережения.

– Это твое дело. Но я не хочу делать тебя несчастным. Ты должен мне еще одну марку и тридцать пять пфеннигов. Когда я их получу?

– О, ты, конечно, получишь их, Кромер! Сейчас я не знаю... возможно, скоро у меня будет больше, завтра или послезавтра. Ты же понимаешь, что я не могу сказать об этом отцу.

– Это меня не касается. Я не такой, чтобы кому-то вредить. Я ведь мог бы получить эти деньги еще до двенадцати, а я беден. Ты хорошо одет, и обед у тебя получше, чем мой. Но я ничего не скажу. Я лучше немного подожду. Послезавтра я тебе свистну, после двенадцати, и ты уладишь дело. Знаешь, как я свищу?

Он свистнул для большей ясности, я этот свист часто слышал.

– Да, – сказал я, – знаю.

Он ушел, словно я не имел к нему никакого отношения. Между нами была сделка, больше ничего.

Еще и сегодня, думаю, кромеровский свист испугал бы меня, если бы я вдруг снова услышал его. Отныне я слышал его часто, мне казалось, я слышу его всегда и непрерывно. Не было такого места, такой игры, такой работы, такой мысли, куда бы не проникал этот свист, от которого я зависел, который стал теперь моей судьбой. В мягкие, красочные дни осени я часто бывал в нашем садике, очень мною любимом, и какой-то странный порыв заставлял меня возвращаться к детским играм прежних эпох; я как бы играл мальчика, который был младше меня, был еще благодетелен и свободен, невинен и защищен. Но в эти игры всегда, как ожидалось и все-таки ужасающе внезапно, врвался откуда-то кромеровский свист, обрывал нить, разрушал фантазии. Я должен был идти, следовать за своим мучителем в скверные и мерзкие места, должен был отчитываться перед ним и выслушивать напоминания о деньгах. Все это тянулось, наверное, несколько недель, но мне они казались годами, казались вечностью. Редко бывали у меня деньги, пятак или десять пфеннигов, утащенные с кухонного стола, когда Лина оставляла там рыночную корзинку. Кромер каждый раз ругал меня и обдавал презрением; это я хотел обмануть его и посягал на его законное право, это я обкрадывал его, это я делал его несчастным! Не столь часто в жизни беда подбиралась к моему сердцу так близко, никогда не чувствовал я большей безнадежности, большей зависимости.

Копилку я наполнил фишками и поставил на место, никто о ней не спрашивал. Но и это могло на меня свалиться в любой день. Еще больше, чем грубого крамеровского свиста, я часто страшился матери, когда она тихонько подходила ко мне – не затем ли, чтобы спросить о копилке?

Поскольку я не раз являлся к своему бесу без денег, он стал мучить и эксплуатировать меня другим способом. Я должен был на него работать. Если отец Кромера посылал его куда-то, Кромер отправлял меня туда вместо себя. Или он давал мне какое-нибудь трудное задание: проскакать десять минут на одной ноге, прилепить бумажку к одежде прохожего. Ночами я во сне продолжал испытывать эти муки и просыпался в холодном поту.

На какое-то время я заболел. Меня часто рвало и знобило, а по ночам бросало в жар и вгоняло в пот. Мать чувствовала, что что-то не в порядке, и всячески показывала мне свое участие, которое меня мучило, которому я не мог ответить.

Однажды вечером, когда я уже лег, она принесла мне дольку шоколада. Это был отголосок прежних лет, когда я, если хорошо себя вел, часто получал на сон грядущий такие лакомства. И вот сейчас она стояла и протягивала мне шоколадку. Мне было так больно, что я смог только покачать головой. Она спросила, что со мной, погладила мои волосы. Я сумел только выдавить из себя: «Нет! Нет! Не хочу ничего». Она положила шоколадку на тумбочку и ушла. Когда она на следующий день стала меня об этом расспрашивать, я сделал вид, будто ничего не помню. Однажды она привела ко мне доктора, который осмотрел и назначил мне холодные омовения по утрам.

Мое состояние в то время было родом безумия. Среди порядка и мира, царивших в нашем доме, я жил в страхе и муках, как призрак, не участвовал в жизни остальных, редко забывался на час. С отцом, который часто раздраженно требовал от меня объяснений, я был замкнут и холоден.

2. Каин

Спасение от моих мук пришло с совершенно неожиданной стороны, и одновременно с ним в мою жизнь вошло нечто новое, продолжающее действовать и поныне.

В нашу гимназию однажды поступил новичок. Он был сын состоятельной вдовы, поселившейся в нашем городе, и носил на рукаве траурную повязку. Он учился в старшем, чем мой, классе, да и был на несколько лет старше, но я, как и все, заметил его. Этот примечательный ученик казался вообще взрослее, чем выглядел, ни на кого он не производил впечатления мальчика. Среди нас, ребячливых школьников, он двигался отчужденно и свободно, как мужчина, вернее, как господин. Особой любовью он не пользовался, он не участвовал в играх, а тем более в драках, однако его решительный и уверенный тон в обращении с учителями нравился всем. Звали его Макс Демиан.

Однажды, как то время от времени случалось в нашей школе, по каким-то причинам в нашей очень большой классной комнате усадили еще один класс. Это был класс Демиана. У нас, маленьких, был урок Закона Божьего, а большие должны были писать сочинение. Когда в нас вдалбливали историю Каина и Авеля, я часто поглядывал на Демиана, чье лицо как-то странно привлекало меня, и видел это умное, светлое, необыкновенно твердое лицо внимательно и сосредоточенно склонившимся над работой; он походил не на ученика, выполняющего задание, а на исследователя, погруженного в собственные проблемы. Приятен он мне, в сущности, не был, напротив, у меня было что-то против него, он был, на мой взгляд, слишком высокомерен и холоден, очень уж вызывающе самоуверен, и в глазах его было то выражение взрослых, которого дети никогда не любят, – немного грустное, с искорками насмешливости. Однако – с приязнью ли, с сожалением ли – я поглядывал на него непрестанно, но, как только он однажды взглянул на меня, я испуганно отвел глаза. Думая сегодня о том, как выглядел он тогда в роли ученика, могу сказать: он был во всех отношениях иным, чем прочие, на нем явно лежала печать особенности, самобытности, и поэтому-то он обращал на себя внимание, хотя в то же время делал все, чтобы не обращать на себя внимания, держался и вел себя как переодетый принц, находящийся среди крестьянских детей и всячески старающийся казаться таким же, как они.

По пути из школы домой он шел позади меня. Когда другие разошлись, он перегнал меня и поздоровался. Его приветствие, хоть он и подражал при этом нашему школьническому тону, было тоже очень взрослым и вежливым.

– Пойдем вместе? – спросил он приветливо. Я был польщен и утвердительно кивнул, затем я описал ему, где живу.

– Ах там! – сказал он, улыбнувшись. – Этот дом я знаю. Над вашим входом есть такая любопытная штукавина, она меня давно заинтересовала.

Я не сразу понял, что он имел в виду, и удивился, что он знает наш дом как бы лучше, чем я. Верно, замковый камень над сводом нашей входной двери изображал собой некий герб, но за много лет он сделался плоским и не раз закрашивался, к нам и к нашей семье, насколько я знал, он не имел никакого отношения.

– Ничего об этом не знаю, – сказал я робко. – Это птица или что-то подобное, наверно, очень древнее. Дом, говорят, принадлежал когда-то монастырю.

– Вполне возможно, – кивнул он. – Рассмотрим это как-нибудь хорошенько! Такие вещи часто бывают очень интересны. Думаю, что это ястреб.

Мы пошли дальше, я совсем оробел. Вдруг Демиан засмеялся, словно вспомнил что-то веселое.

– Ах, ведь я побывал на вашем уроке, – сказал он оживленно. – Эта история о Каине, который носил на себе печать, так ведь? Она тебе нравится?

Нет, мне редко что-либо нравилось из того, что нам приходилось учить. Но я не отважился это сказать, у меня было такое чувство, будто со мной говорит взрослый. Я сказал, что эта история мне нравится.

Демиан похлопал меня по плечу.

– Не надо передо мной притворяться, дорогой. Но история эта в самом деле любопытна, намного, думаю, любопытней, чем большинство других, которые учатся в школе. Учитель ведь мало что об этом сказал, только обычное о Боге, грехе и так далее. Но я думаю... – Он запнулся и, улыбнувшись, спросил: – А тебе это интересно? Так вот, я думаю, – продолжал он, – эту историю о Каине можно понимать и совсем иначе. Большинство вещей, которым нас учат, конечно, вполне правдивы и правильны, но на все можно смотреть и совсем не так, как учителя, и тогда они большей частью приобретают куда лучший смысл. Вот этим Каином, например, и печатью на нем нельзя же вполне удовлетвориться в том виде, в каком нам его преподносят. Ты так не думаешь? Что он, поссорившись, убивает своего брата, такое, конечно, может случиться, и что потом ему становится страшно и он признает свою вину, тоже возможно. Но то, что он за свою трусость еще и награждается орденом, который его защищает и нагоняет страху на всех других, это все же довольно странно.

– Правда, – сказал я заинтересованно: это начинало меня занимать. – Но как же объяснить эту историю иначе?

Он похлопал меня по плечу.

– Очень просто! Существовала и положила начало этой истории печать. Был некий человек, и в лице у него было что-то такое, что пугало других. Они не осмеливались прикасаться к нему, он внушал им уважение, он и его дети. Но наверно, и даже наверняка это не была в самом деле печать на лбу, вроде почтового штемпеля, такие грубые шутки жизнь редко выкидывает. Скорей это была чуть заметная жутковатость, чуть больше, чем люди к тому привыкли, ума и отваги во взгляде. У этого человека была сила, перед этим человеком робели. На нем была «печать». Объяснять это можно было как угодно. А «угодно» всегда то, что удобно и подтверждает твою правоту. Детей Каина боялись, на них была «печать». Вот и усмотрели в печати не то, чем она была, не награду, а ее противоположность. Говорилось, что парни с этой печатью жутки, а жутки они и были. Люди мужественные и с характером всегда очень жутки другим людям. Наличие рода бесстрашных и жутких было очень неудобно, и вот к этому роду прицепили прозвище и сказку, чтобы отомстить ему, чтобы немножко вознаградить себя за все страхи, которые пришлось вытерпеть. Понимаешь?

– Да... то есть... получается, что Каин вовсе не был злым? И значит, вся эта история в Библии, в сущности, не правдива?

– И да, и нет. Такие старые-престарые истории всегда правдивы, но не всегда они так записаны и не всегда их так объясняют, как надо бы. Словом, я думаю, что Каин был замечательный малый, и только потому, что его боялись, к нему прицепили эту историю. История эта была просто слухом, чем-то таким, что люди болтают, а обернулась истинной правдой постольку, поскольку Каин и его дети и в самом деле носили на себе своего рода «печать» и были не такие, как большинство людей.

Я был изумлен.

– И ты думаешь, значит, что и эта история насчет убийства неправда? – спросил я взволнованно.

– О нет! Это наверняка правда. Сильный убил слабого. Был ли то действительно его брат, на этот счет могут быть сомнения. Это не важно, в конце концов, все люди братья. Итак, сильный убил слабого. Может быть, это был геройский поступок, а может быть, и нет. Во всяком случае, другие слабые пребывали теперь в страхе, они всячески жаловались, и, если их спрашивали: «Почему же вы просто не убьете его?» – они не говорили: «Потому что мы

трусы», а говорили: «Нельзя, на нем печать. Бог отметил его!» Так, наверное, возник этот обман... Однако я задерживаю тебя. Прощай!

Он свернул в Старую улицу и оставил меня в одиночестве, удивленным как никогда. Как только он удалился, все, что он говорил, показалось мне совершенно невероятным! Каин – благородный человек, Авель – трус! Каинова печать – награда! Это было нелепо, это было кощунственно и гнусно. Что же тогда Господь Бог? Разве не принял он жертвы Авеля, разве не был Авель угоден ему?... Нет, глупости! И я решил, что Демиан потешался надо мной, дурачил меня. Да, он был чертовски умный малый, и говорить он умел, но такое... нет...

Как бы то ни было, никогда еще я так много не размышлял ни о какой библейской или другой истории. И ни разу за долгое время так полностью не забывал о Франце Кромере, на несколько часов, на целый вечер. Дома я еще раз прочел эту историю по Библии; она была короткая и ясная, безумием было искать тут какого-то особого, тайного смысла. Этак каждый убийца может объявить себя любимцем Бога! Нет, это был вздор. Приятна только была манера Демиана говорить такие вещи, этак легко и красиво, словно само собой разумеется, да еще с этими глазами!

Что-то, однако, было ведь у меня самого не в порядке, даже в большом беспорядке. Прежде я жил в светлом и чистом мире, был своего рода Авелем, а теперь я глубоко увяз в «другом», низко пал, но так уж виноват в этом, в сущности, не был! Как же так? И тут во мне сверкнуло одно воспоминание, от которого у меня перехватило дух. В тот недобрый вечер, когда началась моя теперешняя беда, тогда-то и случилось это у меня с отцом, тогда я вдруг на миг как бы разглядел насквозь и презирал его и его светлый мир! Да, тогда я сам, будучи Каином и неся на себе печать, вообразил, что эта печать не позор, а награда, отличие и что мой злой поступок и мое горе возвышают меня над отцом, возвышают над добрыми и добропорядочными.

Не в такой, как сейчас, форме ясной мысли изведаль я тогда это, но вся суть ее там присутствовала, то была лишь вспышка чувств, необыкновенных чувств, которые причинили мне боль и все же наполнили меня гордостью.

Если задуматься, как удивительно говорил Демиан о бесстрашных и трусах! Как необыкновенно истолковал он печать на челе Каина! Как дивно светился при этом его взгляд, его поразительный взгляд взрослого! И у меня смутно мелькнуло в уме: не сам ли он, этот Демиан, своего рода Каин? Почему он защищает его, если не чувствует себя подобным ему? Почему у него такая сила во взгляде? Почему он так насмешливо говорит о «других», о робких, которые ведь, в сущности, добропорядочны и угодны Богу?

Я не приходил ни к чему с этими мыслями. В колодец упал камень, а колодцем была моя молодая душа. И долго, очень долго, эта история с Каином, убийством и печатью оставалась той точкой, откуда брали начало все мои попытки познания, сомнения и критики.

Я заметил, что и других учеников сильно занимал Демиан. О каиновской истории я никому ничего не говорил, но казалось, что новенький вызывает интерес и у других. Во всяком случае, о нем ходило множество слухов. Если бы я их все помнил, каждый бросил бы какой-то свет на его жизнь, каждый можно было бы истолковать. Помню только, сперва говорили, что мать Демиана очень богата. Говорили также, что она никогда не ходит в церковь и ее сын тоже не ходит. Они евреи, уверял кто-то, но могли быть и тайными магометанами. Еще рассказывали сказки о физической силе Демиана. Точно было известно, что он ужасно унижил самого сильного своего одноклассника, который вызвал его подраться, а когда Демиан отказался, назвал его трусом. Те, кто при этом присутствовал, говорили, что Демиан просто взял его за затылок и крепко сжал, отчего мальчик побледнел, а потом незаметно удалился и несколько дней не мог шевельнуть рукой. В какой-то вечер прошел даже слух, что он умер. Всякое говорили одно время, всякому верили, все волновало и поражало.

Потом на какой-то срок насытились. Вскоре, однако, среди нас, учеников, возникли новые слухи, сообщавшие, что Демиан путается с девушками и «все знает».

Между тем моя история с Францем Кромером шла своим неизбежным путем. Я не мог избавиться от него, ибо, даже если он и оставлял меня на день-другой в покое, я был все-таки привязан к нему. В моих снах он не покидал меня, как тень, и то, чего он не делал мне в действительности, мое воображение заставляло его проделывать в этих снах, в которых я становился полностью его рабом. Я жил в этих снах – видеть сны я всегда был мастер – больше, чем в действительности, я расточал силы и жизнь на эти тени. Среди прочего мне часто снилось, что Кромер истязает меня, что он плюет на меня, становится на меня коленями и, того хуже, совращает меня на тяжкие преступления – вернее, не совращает, а просто силой своего влияния заставляет меня их совершать. В самом ужасном из этих снов, от которого я проснулся в полубезумии, я покушался на убийство отца. Кромер наточил нож и вложил его мне в руку, мы притаились за деревьями какой-то аллеи и ждали кого-то, кого – я не знал, но, когда кто-то появился и Кромер, сжав мне плечо, дал понять, что этого и нужно заколоть, оказалось, что это мой отец. Тут я проснулся.

За этими заботами я, правда, думал еще о Каине и Авеле, но уже меньше о Демиане. Впервые он снова приблизился ко мне странным образом, тоже во сне. Мне приснились истязания и надругательства, которым я подвергался, но на этот раз вместо Кромера на меня становился коленями Демиан. И – это было ново и произвело на меня глубокое впечатление – то, что от Кромера я претерпевал с протестом и мукой, от Демиана я принимал охотно, с чувством, в котором блаженства было столько же, сколько страха. Это снилось мне дважды, потом на его место снова пришел Кромер.

Что испытывал я в этих снах, а что в действительности, точно разграничить я давно уже не могу. Во всяком случае, моя скверная связь с Кромером продолжалась, она не кончилась и тогда, когда я наконец выплатил ему требуемую сумму путем мелких краж. Нет, теперь он знал об этих кражах, ибо всегда спрашивал меня, откуда деньги, и я был в руках у него в еще большей мере, чем прежде. Он часто грозил мне, что все расскажет моему отцу, и тогда мой страх был едва ли сильнее, чем глубокое сожаление о том, что я с самого начала не сделал этого сам. Между тем, как я ни был несчастен, я раскаивался не во всем, во всяком случае, не всегда, и порой у меня бывало ощущение, что все так и должно быть. Надо мной висел рок, и было бесполезно бороться с ним.

Наверно, мои родители немало страдали от этого положения. Мною овладел какой-то чужой дух, я выпадал из нашего содружества, которое было таким тесным и безумная тоска о котором, как о потерянном рае, часто на меня находила. Обращались со мной, прежде всего мать, скорее как с больным, чем как со злодеем, но как обстояло дело по сути, я мог судить лучше всего по поведению обеих моих сестер. Из этого поведения, очень щадящего и все же бесконечно меня огорчавшего, ясно видно было, что я этакий одержимый, которого из-за его состояния надо скорее жалеть, чем ругать, но в которого все-таки вселилось зло. Я чувствовал, что за меня молятся иначе, чем обычно, и чувствовал тщетность этих молитв. Я часто испытывал жгучее желание облегчения, потребность в настоящей исповеди и в то же время предчувствовал, что ни отцу, ни матери все по-настоящему рассказать и объяснить не смогу. Я знал, что это примут доброжелательно, что меня будут очень щадить, даже жалеть, но полностью не поймут и на все это посмотрят как на какую-то оплошность, тогда как это – судьба.

Знаю, некоторые не поверят, что ребенок неполных одиннадцати лет способен на такие чувства. Не этим людям рассказываю я свою историю. Я рассказываю ее тем, кто знает человека лучше. Научившись превращать часть своих чувств в мысли, взрослый замечает отсутствие этих мыслей у ребенка и полагает, что ничего и не пережито. А у меня редко в жизни бывали такие глубокие переживания и страдания, как тогда.

День был дождливый, мой мучитель велел мне явиться на Крепостную площадь, и вот я стоял, разгребая ногами мокрые листья каштанов, которые все еще падали с черных промокших деревьев. Денег у меня не было, но я отложил два куска пирога и взял их с собой, чтобы хотя бы что-нибудь дать Кроммеру. Я давно привык стоять где-нибудь в уголке и ждать его, иногда очень долго, и мирился с этим, как мирится человек с неотвратимым.

Наконец пришел Кроммер. Он сегодня особенно не задержался. Он ущипнул меня разок-другой у ребер, усмехнулся, принял пирог, предложил мне даже мокрую папиросу, которой я, однако, не взял, и был приветливей, чем обычно.

— Да, — сказал он, уходя, — чтоб не забыть... в следующий раз захвати свою сестру, старшую. Как там ее зовут?

Я ничего не понял и ничего не ответил. Я только удивленно посмотрел на него.

— Непонятно, что ли? Доставь мне сестру.

— Нет, Кроммер, это — нет. Нельзя мне, да она и не пойдет со мной.

Я был готов к тому, что это лишь опять какая-то каверза, какой-то предлог. Он часто так делал, требовал чего-то невозможного, нагонял на меня страху, унижал меня, а потом постепенно начинал торговаться. Я откупался от него деньгами или другими подношениями.

Но на этот раз было совсем не так. Он почти даже не разозлился на мой отказ.

— Ну, — сказал он вскользь, — ты подумай. Я хочу познакомиться с твоей сестрой. Как-нибудь представится случай. Ты просто возьмешь ее с собой на прогулку, а я потом присоединюсь. Завтра я тебе свистну, и мы поговорим об этом еще раз.

Когда он ушел, я вдруг что-то понял насчет смысла его домогательства. Я был еще совсем дитя, но понаслышке знал, что когда мальчики и девочки становятся немного старше, они иногда вытворяют друг с другом что-то таинственное, предосудительное и запрещенное. И вот я, значит, должен... мне вдруг стало ясно, как это чудовищно! Решение ни за что этого не делать я принял сразу. Но что будет тогда и как отомстит мне Кроммер, об этом я не осмеливался и думать. Начиналась новая пытка, прежнего было еще недостаточно.

Уныло шел я через пустую площадь, засунув руки в карманы. Новые муки, новое рабство!

Тут меня окликнул чей-то свежий низкий голос. Я испугался и пустился бегом. Кто-то побежал за мной, чья-то рука мягко схватила меня сзади. Это был Макс Демидан.

Я сдался в плен.

— Это ты? — сказал я неуверенно. — Ты так испугал меня!

Он посмотрел на меня, и никогда взгляд его не был в большей мере, чем сейчас, взглядом взрослого, знающего свое превосходство, проницательного человека. Давно уже мы не говорили друг с другом.

— Сожалею об этом, — сказал он в своей вежливой и при этом полной определенности манере. — Но послушай, не надо так пугаться.

— Ну, ведь со всяким случается.

— Пожалуй. Но помни: когда ты так дрожишь перед кем-то, кто ничего не сделал тебе, этот кто-то задумывается. Это удивляет его, возбуждает его любопытство. Он думает себе: очень уж ты пуглив. И думает дальше: так бывает, только когда чего-то боятся. Труссы всегда боятся, но трусом тебя, мне кажется, нельзя назвать, не так ли? О, конечно, героем тебя тоже не назовешь. Есть вещи, которых ты боишься. А бояться не надо. Нет, людей никогда не надо бояться. Ведь меня ты не боишься? Верно?

— О нет, нисколько.

— Вот видишь. Но есть люди, которых ты боишься?

— Не знаю... Оставь меня, чего ты от меня хочешь?

Он не отставал от меня, я ускорил шаг с мыслью убежать и чувствовал его взгляд сбоку.

– Предположим, – начал он снова, – что я желаю тебе добра. Бояться тебе меня, во всяком случае, не следует. Я хочу проделать с тобой один опыт, это забавно и, может быть, научит тебя кое-чему очень полезному. Так вот, слушай... Иногда я пытаюсь заниматься искусством, которое называется чтением мыслей. Никакого колдовства тут нет, но если не знать, как это делается, то выглядит это весьма странно. Людей можно этим еще как удивить...

Попробуем разок. Так вот, я расположен к тебе или интересуюсь тобой и хочу сейчас узнать, что у тебя в душе. Первый шаг к этому я уже сделал. Я испугал тебя – значит, ты пуглив. Есть, значит, вещи и люди, которых ты боишься. Откуда это идет? Бояться никого не надо. Когда кого-то боишься, то происходит это оттого, что ты допустил, чтобы этот кто-то имел власть над тобой. Ты, например, сделал что-то скверное, а другой это знает – и тогда у него есть власть над тобой. Понял? Ведь это же ясно, правда?

Я беспомощно посмотрел ему в лицо, оно было серьезным и умным, как всегда, и добрым тоже, но без всякой сентиментальности, оно было скорее строгим. Была в нем справедливость или что-то подобное. Я не понимал, что со мной; он стоял передо мной как волшебник.

– Понял? – спросил он еще раз.

Я кивнул. Говорить я не мог.

– Я же сказал тебе, что выглядит это смешно – читать мысли, но все делается самым естественным образом. Я мог бы тебе еще, например, довольно точно сказать, что ты обо мне подумал, когда я рассказал тебе как-то историю о Каине и Авеле. Ну да здесь это не к месту. Вполне допускаю также, что ты видел меня во сне. Однако оставим это! Ты мальчик умный, а большинство такие глупые! Мне приятно поговорить с умным мальчиком, который мне внушает доверие. Ты ведь не против?

– О нет. Я только не совсем понимаю...

– Продолжим, однако, наш забавный опыт! Итак, мы выяснили, что мальчик С. пуглив... он кого-то боится... у него, наверно, есть с этим другим какая-то тайна, которая ему очень мешает... Так приблизительно?

Как во сне покорился я его голосу, его влиянию. Я только кивнул. Не звучал ли это голос, который мог изойти только из меня самого? Который все знал? Который все знал лучше, яснее, чем я сам?

Демиан с силой хлопнул меня по плечу.

– Правильно, значит. Так я и думал. Теперь еще один-единственный вопрос: ты знаешь, как зовут того мальчика, который только что ушел?

Я испугался донельзя, моя тайна от прикосновения мучительно сжалась во мне, ей не хотелось выходить на свет.

– Какой мальчик? Никакого мальчика не было здесь, был только я.

Он засмеялся.

– Ну-ка скажи! – засмеялся он. – Как его зовут?

Я прошептал:

– Ты имеешь в виду Франца Кромера?

Он удовлетворенно кивнул мне.

– Bravo! Ты молодец, мы с тобой еще подружмся. Но должен сказать тебе одну вещь: этот Кромер или как там его – скверный малый. Его лицо говорит мне, что он негодяй! А ты что думаешь?

– О да, – вздохнул я, – он плохой, он дьявол! Но он ничего не должен знать! Ради Бога, он ничего не должен знать! Ты его знаешь? Он знает тебя?

– Успокойся! Он ушел, и он не знает меня... Еще не знает. Но я бы не прочь познакомиться с ним. Он учится в народной школе?

– Да.

– В каком классе?

– В пятом... Но не говори ему ничего! Пожалуйста, пожалуйста, ничего не говори!

– Успокойся, ничего тебе не будет. Наверно, у тебя нет желания рассказать мне об этом Кромере немного больше?

– Не могу! Оставь меня!

Он помолчал.

– Жаль, – сказал он затем, – мы могли бы продолжить наш опыт. Однако я не хочу тебя мучить. Но ты же знаешь, не правда ли, что твой страх перед ним неправилен? Такой страх нас совсем изводит, от него надо избавляться. Ты должен избавиться от него, если хочешь стать парнем что надо. Понимаешь?

– Конечно, ты прав... но не выходит. Ты же не знаешь...

– Ты же видел, что я кое-что знаю, больше, чем ты мог думать... Уж не должен ли ты ему отдать какие-то деньги?

– Да, это тоже, но это не главное. Я не могу это сказать, не могу!

– Не поможет, значит, если я дам тебе столько денег, сколько ты ему должен?.. Я бы вполне мог дать их тебе.

– Нет, нет, не в этом дело. И прошу тебя: никому об этом не говори! Ни слова! Ты сделаешь меня несчастным!

– Положись на меня, Синклер. Ваши тайны откроешь мне как-нибудь позже...

– Никогда, никогда! – воскликнул я с жаром.

– Как угодно. Я говорю только, что когда-нибудь, может быть, ты расскажешь мне больше. Только добровольно, разумеется! Ты же не думаешь, что я поступлю так же, как сам Кромер?

– О нет... но ты же ничего не знаешь об этом!

– Ровным счетом ничего. Я только размышляю об этом! И я никогда не поступлю так, как Кромер, можешь поверить. Да ты и не должен мне ничего.

Мы довольно долго молчали, и я успокоился. Но осведомленность Демиана становилась все более загадочной для меня.

– Теперь я пойду домой, – сказал он и плотнее запахнул под дождем грубошерстное непромокаемое пальто. – Хочу только еще раз сказать тебе одно: ты должен избавиться от этого малого! Если уж никак не получится по-другому, убей его! У меня ты вызвал бы уважение и одобрение, если бы это сделал. Я и помог бы тебе.

Меня опять охватил страх. Я вдруг снова вспомнил историю о Каине. Мне сделалось жутко, и я тихонько заплакал. Слишком много жуткого было вокруг меня.

– Ну ладно, – улыбнулся Макс Демиан. – Ступай себе домой! Как-нибудь справимся. Хотя убить его было бы проще всего. В таких делах чем проще, тем лучше. Ничего хорошего ты от своего друга Кромера не дождешься.

Я пришел домой, и мне показалось, что я отсутствовал здесь целый год. Все выглядело иначе. Между мной и Кромером встало какое-то будущее, какая-то надежда. Я не был больше один! И только сейчас я увидел, до чего одинок был со своими мыслями столько недель. И мне тут же подумалось то, о чем я уже не раз размышлял: что признание перед родителями облегчило бы меня, но полного избавления мне не дало бы. А сейчас я чуть не признался, причем другому, постороннему человеку, и на меня повеяло предвестием избавления!

Однако мой страх отнюдь еще не был преодолен, и я еще ждал долгих и тяжелых объяснений с отцом. Тем удивительнее было мне, что все совершилось так тихо, тайком, без шума.

Свиста Кромера перед нашим домом не слышалось один день, два дня, три дня, неделю. Я боялся этому верить и внутренне был настороже: не явится ли он все-таки вдруг,

именно тогда, когда его уже перестанешь ждать. Но он так и не объявился! Не доверяясь новой свободе, я все еще не верил в это вполне. Пока наконец случайно не встретился с самим Францем Кромером. Он шел вниз по Канатной улице, прямо навстречу мне. Увидев меня, он вздрогнул, скорчил какую-то кривую гримасу и тут же повернул назад, чтобы не встретиться со мной.

Это был для меня невероятный миг! Мой враг убежал от меня! Мой дьявол меня боялся! Я был сам не свой от радости и неожиданности.

В эти дни Демиан однажды показался опять. Он ждал меня перед школой.

– Здравствуй, – сказал я.

– Доброе утро, Синклер. Хотелось услышать, как твои дела. Кромер ведь теперь не пристаёт к тебе, правда?

– Это ты сделал? Но как же? Как же? Я не понимаю. Он совсем исчез.

– Это хорошо. Если он вдруг явится снова – думаю, он этого не сделает, но он ведь наглец, – скажи ему только, чтобы вспомнил про Демиана.

– Но какая тут связь? Ты затеял с ним ссору и вздул его?

– Нет, я до этого не охотник. Я просто поговорил с ним, так же как с тобой, и сумел объяснить ему, что ему самому выгоднее отстать от тебя.

– Но ты же, конечно, не давал ему денег?

– Нет, мальчик мой, этот путь ты ведь уже испробовал.

Он ничего больше не открыл мне, как я его ни расспрашивал, и у меня осталось прежнее тяжелое чувство по отношению к нему, представлявшее собой странную смесь благодарности и робости, восхищения и страха, приязни и внутреннего сопротивления.

Я решил увидеть его вскоре снова и тогда поговорить с ним обо всем подробнее, а также и насчет каиновской истории.

Не привелось.

Благодарность – это вообще не та добродетель, в которую я верю, а требовать ее от мальчика было бы, по-моему, смешно. Поэтому я не очень-то удивляюсь своей собственной полной неблагодарности, проявленной в отношении Макса Демиана. Сегодня я совершенно уверен, что я был бы искалечен и погублен на всю жизнь, если бы он не освободил меня от когтей Кромера. Это освобождение я и тогда уже ощутил как величайшее событие моей молодой жизни, но от самого освободителя я отмахнулся, как только он сотворил свое чудо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.